



М. О. МЕНЬШИКОВ

Клевета обожания

I

Два забвения угрожают великому человеку за гробом: одно — от недостатка внимания к нему потомства, другое — от избытка внимания. Забвение полное еще выносимо: как смерть, оно не лишено величия. Если потомство не в силах дать жизни великой душе в недрах своей собственной, то единственно, чем оно может почтить покойного, — предать его полному забвению. Как океан, принимающий в темные бездны свой труп пловца, полное забвение потомства — могила не худшая из всех для гения. Несравненно обиднее, когда незначительное потомство все-таки пытается вместить в тесноту своей природы великий дух и искажает его до неузнаваемости. Под имя, которое носил замечательный человек, подставляется чуждая ему фигура и ей воздаются поклоны, в сущности оскорбительные для души покойного. Если бы великий, кроткий Будда вновь пришел на землю и по медным идолам его, легендам и суевериям узнал бы, каким его представляют себе буддисты, он был бы огорчен глубоко. «Я совсем не такой! — воскликнул бы он. — Меня подменили!..» Он мог бы негодовать сколько угодно: на его глазах поклонялись бы уродливой карикатуре его, а его сочли бы за дерзкого самозванца. Ничто так не искажает образа великого человека, как слишком пылкий культ его, ведущий к преувеличениям. Истинное представление о человеке постепенно вытесняется ложным и идет в глубь истории как нарастающая, никем не подозреваемая клевета на него. И это *неполное* забвение, согласитесь, несравненно большее полного. Лучше великой душе совсем погибнуть, чем быть пересозданной в памяти потомства по *его* плохому образу и подобию...

Эта жестокая сторона культа великих людей особенно заметна в юбилейные годы, подобные нынешнему. Наблюдая со стороны шумные юбилейные торжества, въявь видишь, как чистое божество постепенно грубеет и превращается в идола, может быть в блестящего, пестро украшенного, но мертвого. В обыкновенные годы какого-нибудь покойного писателя только читают и редко пишут о нем, если же пишут, то спокойно. В такие годы память о нем состоит не столько в суждении о нем, сколько в созерцании его, и потому она близка к правде. В годы же юбилейные созерцание уступает место суждению, и тут начинается быстрый рост лжи. Под влиянием праздничного восторга, желания порисоваться в роли чествователя, желания почтить гения (единственным знакомым способом — лестью) в юбилейные годы говорится и пишется невероятное количество слов — все «слова, слова»¹, туча которых на некоторое время совсем закутывает, подобно саранче, образ юбиляра или придает ему неестественные очертания. Свежий пример этому — не остывшая еще годовщина 100-летия со дня рождения Пушкина. По случаю ее снова были разворочены груды старого материала для его биографии (все еще не существующей) и еще раз в разных вариантах пересказаны воспоминания, мнения, анекдоты о Пушкине. Во всем этом хламе чувствуется какая-то крупица правды, но затерянная в такой массе лжи, вольной и невольной, что образ души поэта, нарисованный его музою в нашей мысли, образ тонкий, как видение, начинает снова облекаться в лубочные краски и принимать грубые черты. Придется, может быть, еще десятки лет потратить на то, чтобы забыть все ненужное о Пушкине и восстановить все необходимое, что рассказано им самим о себе. Творения писателя, да и то лишь лучшие из них, — единственная достойная его биография. Только эти творения и дают верное понятие о том, что было *жизнью* писателя, подробности же о его увлечениях, страстях, пороках, приключениях и пр. говорят о том, что препятствовало этой жизни. Останавливаться на них долго — решительно опасно для памяти покойного: воскресает при этом то, что было мертвого в нем, и заслоняет оставшееся живое. Воскресшие черты, растянутые непропорционально, смотря по усердию воспоминателей, слагаются в карикатуру, которая и закрепляется в памяти как истинный образ писателя. Критики продолжают работу мемуаристов. Разменяв подлинный капитал духа великого человека на мелочь, на тысячи цитат из него, они связывают их в другом порядке, разносят по клеточкам своего бухгалтерского отчета, подводят актив и пассив, причем покойный обыкновенно еще раз признается кредитоспособным в смысле славы. По-

что каждый критик навязывает покойному юбиляру что-нибудь свое, о чем тому и не снилось, и это-то *свое*, искусственное и незначительное, и возводит в особую заслугу покойного. И чем продолжительнее и строже культ великого человека, тем эта *клевета обожания* все больше искажает его образ. Не избег этой благожелательной клеветы и Пушкин. Если бы он прочитал все то, что ему приписывают теперь — хорошего и дурного, — он бы развел руками и, может быть, вздохнул бы о том, что не забыт вовсе.

II

Из числа множества клевет, которыми почтили Пушкина в нашей печати, я остановлюсь на одной, принадлежащей известному поэту Д. С. Мережковскому. Обширная статья его о Пушкине появилась незадолго до юбилея², но вызвана, видимо, подъемом культа к этому писателю в последние годы. Статья г. Мережковского, замечательная вообще, конечно, самая блестящая из посвященных великому поэту в наше время. Д. С. Мережковский сам поэт и не меньше всех других современных поэтов имеет право считать себя преемником Пушкина. Даже несколько более их: в ряду так называемых «молодых поэтов»³ г. Мережковский никому не уступает в таланте и всех превосходит разнообразием его. Подобно Пушкину, он владеет своею прозой не хуже, чем стихом (чего о большинстве поэтов сказать нельзя); подобно Пушкину, г. Мережковский отличается образованностью, знакомством с западными литературами. Лирика и роман интересуют его не менее, чем история, и впечатлительности его хватает не только на то, чтобы уловить новые веяния, но и на то, чтобы — к сожалению — преувеличить их. Я не настаиваю на полной аналогии г. Мережковского с Пушкиным — но все же это писатель выдающийся, все же достойный развязать ремень у ноги великого поэта. Его суждение о Пушкине интересно во всяком случае, и статья его — полная блеска и жара — могла бы быть событием в нашем образованном обществе, если бы таковое как общество существовало. Но среди множества красивых мыслей, своих и заимствованных (у Гоголя, Достоевского и других критиков Пушкина), у г. Мережковского и в этой статье поражает то, что составляет язву его таланта: отсутствие чувства меры. Над ним не бодрствует гений, который предостерегал бы его от ложного шага, от слишком поспешной мысли. Как и у огромного большинства современных дарований, у г. Мережковского слабо действу-

ет главный из органов чувств — нравственное зрение. Всякое другое зрение у него очень остро, но он не замечает иногда чудовищного безобразия чисто нравственного, до которого договаривается в своих писаниях. Это тем более жаль, что г. Мережковский по другим данным своей природы мог бы быть силою в литературе значительною и полезною.

В статье «А. С. Пушкин» наговорено множество истин и ошибок, на которых я останавливаться не стану; предложу лишь читателю обратить внимание на «второй главный мотив пушкинской поэзии», как понимает его г. Мережковский. Этот мотив — «полубог и укрощенная им стихия».

III

Как читателям г. Мережковского хорошо известно, этот молодой поэт — ничшеанец⁴ и символист; он в русской литературе является самым пылким и чуть ли не единственным проповедником «язычества». Страстно увлеченный эпохой Возрождения, воскресшими преданиями языческого искусства, будто бы заданного христианством, г. Мережковский не может простить последнему этой обиды, и сколько есть у него вдохновения — взывает о восстановлении Олимпа. По мнению нашего автора, в истории человечества действуют «две силы, два начала, два течения, вечно враждебные друг другу и вечно стремящиеся к новым примирениям... я разумею христианство и язычество»⁵, говорит он. «Упадки» (Décadences) сменяют «Возрождения» (Renaissances), причем светлое, полное жизни язычество гаснет в сумрачном и мертвом христианстве. «И вот теперь, на рубеже неведомого XX века, мы стоим перед тем же великим и неразрешенным противоречием Олимпа и Голгофы, язычества и христианства и опять надеемся, опять ждем Rinascimento, чей первый, смутный лепет называем символизмом»⁶. Любимый герой г. Мережковского — Юлиан Отступник, сделавший, по его словам, «Прометееву» попытку эллинского возрождения⁷. В одном месте он утверждает, что тень Голгофы легла мраком на последующие тысячелетия⁸; слово «галилеянин» употребляется им как презрительное — в противоположность «эллину». Эллинизм он понимает как торжество силы и сладострастия, как культ человеческого самообожествления, при котором будто бы нет ни добра, ни зла, а одна ничем не омрачаемая радость прекрасной плоти.

Надо отдать справедливость г. Мережковскому: увлечение язычеством у него не поверхностное; оно в нем достигает религи-

озного восторга. Это не атеизм и не нигилизм, а своего рода вера, которой он посвящает все благородство своего сердца. Но фанатизм, как известно, уродует даже истинную религию; не менее терпит от него и ложная. В древнеэллинском миропонимании была некоторая абсолютная и вечная правда, которая (в лице Платона, Сенеки, Марка Аврелия) целиком совпала с вечною правдою христианства. Была в язычестве и другая, *относительная* правда — в поклонении красоте телесной и радости существованья. В меру чистоты своей, как поклонение совершенству, эта правда не была чужда и истинному христианству. Но в том же язычестве было много и вечной лжи, которая опорочивала все священное, что таилось в язычестве. Ложь эта была — преувеличение правды. Красота и сила плоти, в мере невинности их, есть правда жизни, но, выходя из этой меры, становятся ложью. Чрезмерное поклонение красоте повело к культу сладострастия, чрезмерное поклонение силе — к культу жестокости. И сладострастие, и жестокость, как блестяще раскрыто историей Греции и Рима, суть не более как пороки, которые ни в какой религии не могут играть иной роли, кроме губительной. Но фанатизм язычества (как и некоторых христианских лжеучений) возвел и эти явные недостатки в нечто священное. Г. Мережковский, сам не подозревая, что он изменяет языческому идеалу, страстно защищает грехи язычества: под видом красоты он воспекает сладострастие, под видом силы — грубую жестокость.

IV

Молодой поэт имеет, конечно, бесспорное право думать и проповедовать что ему угодно. Но совершенно напрасно он приписывает свои думы и проповеди другому, более авторитетному лицу, хотя бы с целью почтить его этим. Пушкин, конечно, прекрасный союзник, но навязывать ему даже по поводу юбилея свое язычество, свой культ насилия и сладострастия — более чем неосторожно. А г. Мережковский проделывает это с величайшею энергией. Под видом возвеличения великого поэта он взводит на него очень серьезное обвинение — будто Пушкин ненавидел и презирал народ, будто он воспевал тех тиранов, которые не задумывались проливать кровь народную, как воду. Мне кажется, что это клевета на Пушкина, хотя бы и высказанная как восторженный комплимент. Сам г. Мережковский пламенно выражает свое презрение к народу и любовь к тиранам — это его добрая воля и вопрос, может быть, моды, но утверждать, что и Пушкин был того

же кровожадного мнения, — это несправедливо. «Как галилеянин, — пишет г. Мережковский, — Пушкин противопоставляет первобытного человека современной культуре. Той же современной культуре, основанной на власти черни, на демократическом понятии равенства и большинства голосов, противопоставляет он, как язычник, самовластную волю единого творца или разрушителя, пророка или героя. Полубог и укрощенная им стихия — таков второй главный мотив пушкинской поэзии». Демократия ненавистна г. Мережковскому до глубины души, и он не может простить сочувствие правам народным со стороны Гюго, Шиллера и Гейне. Даже Байрон — «лорд до мозга костей, благороднейший из благородных», возвеличивший в угоду г. Мережковскому Наполеона и Прометея, Каина и Люцифера, — даже Байрон уронил себя во мнении нашего критика тем, что был отзывчив на народные страдания. Он был поклонник Руссо, а Руссо, по мнению г. Мережковского, «проповедник самой кощунственной из религий — большинства голосов». Байрону г. Мережковский не может простить того, что, «потворствуя духу черни», он снизошел «до роли политического революционера (?), предводителя восстания, народного трибуна». Хуже выражения, как «трибун народный», наш молодой поэт уже и придумать не мог. Не то Пушкин: «рожденный в той стране, которой суждено было с особенной силой подвергнуться влияниям западноевропейской демократии, как враг черни, — как рыцарь вечного духовного аристократизма, безупречнее, бесстрашнее Байрона». И в доказательство этой безупречности г. Мережковский выписывает стихотворение «Чернь». С торжеством выписываются знаменитые строки:

Молчи, бессмысленный народ,
 Поденщик, раб нужды, забот,
 Несносен мне твой ропот дерзкий.
 Ты червь земли — не сын небес.

На основании этого стихотворения — вызвавшего столько бурь в критике, г. Мережковский торжественно возводит Пушкина в злейшие враги народные, крича, что это-то и есть величайшая заслуга поэта.

V

Пушкин — душа огромная; это была не одна жизнь, а как бы тысяча жизней, сплетенных в одну ткань. Пушкину были доступны все миры страстей человеческих и увлечений, вся правда и вся ложь бытия. Пушкин искренно переживал и язычество,

и христианство, вмещал в себе все человеческое. Как поэт — он был эхом жизни, «ревел ли зверь» в его сердце, «гремел ли гром» или слышался голос «девы» — на все давал он отклик. Поэзия — упоенье, и он искал его всюду — и в трогательной любви, и в героизме, и «в дуновении чумы». Недолго он прожил, и многое заветное еще не дало в нем расцвета. Но и в том, что осталось от него, можно почерпнуть достаточно доказательств для какого хотите настроения. Если стихи его подбирать как документы, то с одинаковым правом вы можете утверждать, что Пушкин был и истинный христианин, и грубый язычник, и народолюбец, и противник народа, и человек целомудренный, и цинический грешник, и враг насилия, и сторонник его. В разный возраст, в разные моменты того же возраста, смотря по преобладанию той или другой из стихий, его составлявших, он выказывал совершенно различные взгляды, которые с своей, относительной, точки зрения одинаково верны, и с абсолютной — одинаково ошибочны. Когда Пушкин утверждал, что народ подл, то *относительно* он был столько же прав, как тогда, когда утверждал, что народ благороден. Народ одновременно и подл, и благороден, смотря по тому, какие струны его души приведены в действие. Но Пушкин был бы абсолютно не прав, утверждая что-нибудь одно из двух; но он этого и не делал. За него услужливо проделывает это г. Мережковский. Ему хочется во что бы ни стало записать Пушкина в свой исключительный лагерь, и, ухватившись за одно-два стихотворения, он тащит его непременно в язычники, непременно в ненавистники народные. Он ухватывается за «Чернь» — сильное по форме, но одно из самых загадочных по замыслу стихотворение Пушкина — и на невыясненности его строит духовный образ Пушкина, его отношение к человечеству. О «Черни» в литературе было много толков, но определенного толкования, как известно, не установилось. По словам Шевырева, стихотворение это написано под влиянием новой тогда художественной теории Шеллинга, проповедовавшей освобождение искусства, равноправность красоты истине и добру⁹. Другие думают, что, дав этому стихотворению название «Ямб», Пушкин подражал в нем сатирам Шенье¹⁰. Еще ближе, вероятно, к истине мнение, что в «Черни» Пушкин дал отповедь той великосветской черни, которая обвиняла его в безнравственности и лицемерно требовала, чтобы он морализировал в стихах¹¹. Шевырев рассказывает, что Пушкин терпеть не мог, когда с ним говорили о стихах его в большом свете. «У княгини Зинаиды Волконской, на литературном собрании, к Пушкину пристали, чтобы прочесть. В досаде он прочел “Чернь” и, кончив, с сердцем сказал: “В другой раз не станут

просить»¹². Что Пушкин обращался в этом отношении не к народной черни, видно из того, что незадолго до смерти он дал ему название «Поэт и толпа»¹³. Толпа, окружавшая поэта, была не народная — и отнюдь не простонародная. Если бы Пушкин хотел изобразить поэта среди народа, то он вспомнил бы, каким уважением окружает народ своих баянов. Примеры «хладного и надменного» отношения к поэту Пушкин видел не среди народа, а в светской толпе, а критика на тему «О чем звучно он поет, напрасно ухо поражая?» была именно тогдашняя литературная критика в лице Булгарина и иных. Знать все это, как знает, конечно, г. Мережковский, и все-таки приписывать Пушкину презрение к *народной* черни, к демократии — недобросовестно. Вспомните еще эпиграф к «Черни» — *procul este, profani...* * Что Пушкин питал презрение к профанам — это несомненно, но профаны и *народ* — не одно и то же. Профаны не невежды только, а надменные невежды, и такие встречаются чаще в светском кругу, нежели среди народа. «Поденщик, раб нужды, забот» — относится одинаково и к нищему классу, и к той аристократии, которая связана корыстной службой и вечными заботами тщеславия. Не в иной, а именно в этой среде Пушкин наблюдал своих профанов. Возможно допустить, что «Чернь» навеяна была Пушкину, как свидетельствует эпиграф, отчасти и Горацием, и он соединил свои чувства с мыслью древнего поэта¹⁴. Подобно тому как, подражая Данте или Корану, Пушкин дал блестящее выражение чуждым ему настроениям XIII или VII века, так и в «Черни» он воспроизвел, может быть, еще более далекую от него гордость языческого поэта I века до нашей эры. Если предполагать, что Пушкин выразил в «Черни» *свою* поэтическую веру, *свое* отношение к народу, то этим были бы вычеркнуты другие исповедания веры, написанные им заведомо как характеристика своего призвания. Как бы в предчувствии близкой смерти создавая себе «памятник нерукотворный», Пушкин утешал себя тем, что «к нему не зарастет *народная* тропа». Едва ли подумал бы о ней ненавистник черни. Его слова:

И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал,
 Что в мой жестокий век восславил я свободу,
 И милость к падшим призывал...

Эти слова — оправдание бессмертия, «вечного памятника», который, по мнению Пушкина, он воздвиг себе в народном сердце. Эти слова — достойный ответ на голос черни:

* прочь, непосвященные (лат.). — *Сост.*

...Если ты небес избранник,
 Свой дар, божественный посланник,
 Во благо нам употребляй:
 Сердца собратьев исправляй.
 Мы малодушны, мы коварны,
 Бесстыдны, злы, неблагодарны,
 Мы сердцем хладные скопцы,
 Клеветники, рабы, глупцы;
 Гнездятся клубом в нас пороки:
 Ты можешь, ближнего любя,
 Давать нам смелые уроки,
 А мы слушаем тебя.

VI

На этот вопль раскаяния, обращенный чернью к избраннику небес¹⁵, истинный избранник ответил бы так, как отвечали все великие христианские писатели, как отвечали пророки, как ответил сам Пушкин. Избранники небес раскрывали черни всю святыню своего сердца, возбуждали чувства добрые, боролись с жестокостью своего века, восславляли свободу и — как венец всего — призывали «милость к падшим». Не праздно, перед самой смертью (в 1836 г.) написал Пушкин эту эпитафию себе. Она — его завещание, его скрижали, где начертаны заветы поэтического долга, как он понимал его. Но сопоставьте эти благородные слова с крайне грубым и злобным ответом поэта кающейся черни:

Подите прочь! Какое дело
 Поэту мирному до вас!
 В разврате каменейте смело,
 Не оживит вас лиры глас.
 Душе противны вы, как гробы:
 Для вашей глупости и злобы
 Имели вы до сей поры
 Бичи, темницы, топоры.
 Довольно с вас, рабов безумных!

Сопоставьте со всею деятельностью Пушкина этот бесчеловечный ответ поэта «падшим», и вы допустите, что *поэтом* в данном случае был не сам Пушкин, и не христианский поэт вообще. «Поэтом» здесь мог быть стихотворец двора Августа, окруженный чернью эпохи упадка, чернью развратной и кровожадной и вовсе не кающейся. Для язычника времен цезарей такое жестокое отношение к народу было бы естественным; Пушкин, перенесшись душой в век Горация, очень точно нарисовал портрет поэта, аристократа (по воспитанию)¹⁶ и эпикурейца. Сам же Пуш-

кин таким не был или, точнее, не был таким *сплошь*. Ему, повторяю, не чуждо было и язычество, и высокомерное барство, и озлобление на народ, — но на другой подкладке. Припомните стихотворение 24-летнего Пушкина:

Свободы сеятель пустынный,
 Я вышел рано, до звезды,
 Рукою чистой и безвинной
 В поработенные бразды
 Бросал живительное семя.
 Но потерял я только время,
 Благие мысли и труды...
 Паситесь, мирные народы,
 Вас не пробудит чести клич!
 К чему стадам дары свободы?
 Их должно резать или стричь;
 Наследство их из рода в роды
 Ярмо с гремушками да бич.

Эти строки, по-видимому, далеки от того чистого сострадания к народу, каким дышит написанная четыремя годами ранее «Деревня». Здесь вы слышите решительную злобу. Но примите в расчет, что она вызвана ничем иным, как отчаянием поэта пробудить тот же народ, и истинное отношение Пушкина к черни станет ясно. Он болел и скорбел за чернь, и ненавидел ее в минуты отчаяния, и проклинал ее, и горячо любил. Вспомните пророков — те громили народ свой с наименьшей беспощадностью и тоже предрекали «бичи, темницы, топоры...». Не очевидно ли, что и в «Черни» Пушкин присоединяется к языческому поэту лишь на минуту горького разочарования в народе. Как поэт иного духа и иного века, Пушкин знал хорошо, что навсегда отойти от народа — это значит отказаться от своего призвания; он знал, что «служенье, алтарь и жертвоприношение» — бессмыслица, если они не вместе с народом и не для народа, что «вдохновение» и «звуки сладкие» — бред, а «молитвы» и вовсе невозможны для поэта, сказавшего падшим людям: «Подите прочь!».

VII

Не было никакого основания ни Писареву в свое время, ни г. Мережковскому теперь брать «Чернь» как поэтическое *credo* Пушкина; нет нужды по поводу этого стихотворения ни уничтожать поэта, ни его возвеличивать. Но г. Мережковский повторил писаревскую ошибку, хоть и навыворот, но с еще большею пылкостью. Он не только присоединился к проклятиям поэта,

обращенным к черни, но и довел их до забавного преувеличения. Раскаяние черни, мольба употребить небесный дар поэзии на благо людям, причем точно говорится, в чем это благо: «Сердца собратьев исправляй», — эта мольба черни кажется г. Мережковскому дерзостью и самым пошлым «утилитарианизмом», «духом корысти». Благо, даже небесное, ему кажется мерзостью: «Когда великий художник, — пишет г. Мережковский, — во имя какой бы то ни было цели — корысти, пользы, блага земного или небесного; во имя каких бы то ни было идеалов, чуждых искусству, — философских, нравственных или религиозных, отрекается от бескорыстного и свободного созерцания, то тем самым он творит мерзость во святом месте, приобщается духу черни». Признав «мерзостью» в поэзии даже религиозный идеал, г. Мережковский продолжает: «Вот как истинный поэт — служитель вечного Бога — судит этих сочинителей полезных книг и притч для народа, этих исправителей человеческого сердца, первосвященников, взявших уличную метлу, предателей поэзии. Вот как Пушкин судит Льва Толстого, который пишет нравоучительные рассказы:

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас
и пр.

Прочувствовав комизм этих слов в применении к Льву Толстому, г. Мережковский благоразумно выпустил из цитаты ее продолжение: «В разврате каменейте смело» и пр., но не догадался опустить последние две строчки:

Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...

Если поэты рождены для *молитв*, то г. Мережковский излишне поспешил провозгласить «мерзостью» религиозный идеал в поэзии, а также «вдохновенья» нравственные и философские. Если бы Пушкин слышал о таком покушении молодого поэта на изгнание вдохновений нравственных и философских, даже он бы содрогнулся — или, может быть, улыбнулся бы. Во что, в самом деле, обратился бы бедный Данте или Мильтон, если бы отнять у них религиозный идеал? Или бедный Гете, у которого вытравить философское вдохновение? Или Байрон, или Лермонтов, если отнять у них вдохновение нравственное? Право, можно подумать, что г. Мережковский — будучи сам недурным стихотворцем — неясно понимает, что такое истинная поэзия. Возможна ли по-

эзия, отрешенная от всякого содержания — религиозного, нравственного и умственного? Не есть ли, наоборот, поэзия — именно какое угодно содержание, лишь бы оно было *вдохновенно* понято? Вдохновенный вероучитель, охваченный «божественным глаголом», — разве он не поэт в то же время? Или вдохновенный философ, или пророк-нравоучитель — разве они не поэты в минуты высокого их служения? Что же останется тогда на долю поэзии, если выкинуть из нее самые благородные из вдохновений — идеал религиозный, нравственный, философский? Пушкин понимал поэзию как стоголосое эхо, дающее отзвук сердца на все явления бытия, и едва ли согласился бы, без тяжкого над ним насилия, откликаться только на самое низкое, что остается в природе вне религии, философии и морали. Ему пришлось бы отказаться от лучших своих созданий, проникнутых мудростью и верой, — пришлось бы отказаться и от «Черни», потому что что же такое это стихотворение, как не мораль? В «сладких звуках» его нет молитвы, но есть ясно выраженное нравственное вдохновение, — доброе или злое — это другой вопрос.

VIII

Пушкинского поэта, который так капризно разговаривает с толпой, г. Мережковский считает олицетворением аристократизма духа. Вся русская литература после Пушкина «обратилась» (будто бы) против своего учителя, «изменила» ему, в лице Гоголя, Достоевского, Толстого, которые «обошли, замолчали, презрели эту героическую сферу пушкинской мудрости». Но «Чернь» еще не совсем удовлетворяет г. Мережковского. «Избранник небес удостоивает говорить с толпой, слушать ее и даже спорить. Это слабость... Для такой откровенности гениев не созданы ее звериные уши». Вот до какой степени молодой поэт презирает толпу. Он утверждает далее, что в минуту вдохновения, «лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется», поэт «уже более не человек: в нем рождается высшее непонятное людям существо. Звери, листья, воды, камни ближе к сердцу его, чем братья». Не замечая комического смысла этой фразы, где «нечеловек», «высшее существо» приближается к зверям и камням, г. Мережковский возносит поэта и героя (для него это все равно) на недостижимую высоту над родом людским. «Герой есть помазанник рока, естественный и неизбежный (!) владыка мира». Тут опять жестоко достается современной демократии, неохотно подставляющей шею для «неизбежного владыки». Г. Мережковского возмуща-

ет, что в современной демократии «нет меньших и больших, а есть только малые... только равные перед законом, основанном на большинстве голосов, на воле черни, на этом худшем из насилий: ибо — подлые столь же, как и малые, — от всей души ненавидят они единственный закон, освященный единственной бесспорной святыней — волей героя, Божьего избранника». Таким образом, равенство перед законом объясняется подлостью толпы, а самый закон, признанный желанием большинства, отвергается. Воля героя — вот бесспорная (!) святыня, единственный закон, который допускает г. Мережковский. *Suprema lex — regis voluntas* *¹⁷. Начальники в современной демократии тоже отрицаются по той причине, что они подчиняются закону: «Нет героев, — вопиет наш критик, — а есть начальники, такие же бесчисленные, равные перед законом и малые, как и их подчиненные; или же... один большой начальник...», который, сильный «силою черни», большинством голосов, «преподносит ей идеал ее собственной пошлости — буржуазное, умеренное, безопасное “братство”, это разогретое вчерашнее блюдо». Далее описывается, как такой большой начальник, Наполеон III — сын черни (?), с нежностью любит чернь (это Наполеон-то III?) — свою мать, свою стихию». Героев г. Мережковский уподобляет «хищникам небесным, орлам»: «...когда слетает к людям божественный хищник — герой, то равенству и большинству голосов и добродетелям черни... смерть всему». Такие налеты на толпу «божественных хищников» г. Мережковский называет «праздниками истории», но с грустью признается, что такие праздники редки, и между ними «царит добродетельная буржуазная скука, демократические будни». Кесарь, венчанный Римом (т. е. закономерный начальник народа), не удовлетворяет г. Мережковского: гораздо выше «Кесарь, венчанный Роком», вроде Наполеона I, которого г. Мережковский считает образцом героя, «последним героическим воплощением дельфийского бога солнца и гордыни». Отсюда же симпатия молодого поэта «благородной мусульманской культуре, которой суждено дать миру сладострастную негу Альгамбры». Дело в том, что этой культуре дал начало Магомет, герой, «бич и гроза неверных, суетных и велеречивых, не покорившихся воле Единого». Гибелью окружен разгневанный пророк, хотя г. Мережковский отмечает, что где гнев, там и милость: «Жестокость и милосердие соединяются в образе Аллаха. Это две стороны единого величия... Только беспощадность Аллаха равна его милосердию, и как чудно они сливаются в одном ужасающем и благодат-

* Высший закон — воля монарха (лат.). — *Сост.*

ном явлении», восклицает молодой поэт и приводит пушкинское подражание Корану:

Люби сирот и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй...

.

И все пред Бога притекут,
Обезображенные страхом,
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.

IX

Жестокость г. Мережковским выставляется как свойство божественное, с которым может сравниться только сладострастие. Именно этим гневом прекрасен Аполлон. Тут наш молодой поэт позволяет себе разойтись с Пушкиным. Из двух изображений, пленивших юного Пушкина, Аполлона и Диониса, один

Был гневен, полон гордости ужасной
И весь дышал он силой неземной,
Другой женоподобный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал,
Волшебный демон, лживый, но прекрасный.

Г. Мережковский с последним мнением не согласен, т. е. что сладострастный демон лжив. «Для нас, нашедших единство в двойственности, — говорит он, — это уже не лживые идолы, не призраки умерших богов, а вечно живые демоны, два идеала героической мудрости... Аполлон, бог знания, солнца и гордыни, и Дионис, бог тайны, неги и сладострастия». Последним воплощением Аполлона, бога солнца и гордыни, по мнению г. Мережковского, был Наполеон I, а Вакх воплотился — в оргиях во время чумы...

Чем дерзновеннее сладострастие, тем в больший пафос приходит г. Мережковский. Говоря о «Египетских ночах», о трех поклонниках Клеопатры, предложивших жизнь свою за ее объятия одной ночи, — наш автор захлебывается от благоговенья перед ними: «Они достойны этого фимиама — земные боги, избранники Диониса, герои сладострастия, ибо, увлекаемые безмерностью своих желаний, они преступили пределы человеческого существа и сделались “как боги”». Все чрезмерное, противоестественное оказывается божественным. В страстях самых уродливых и низких г. Мережковский видит черты героизма и царственного ве-

личия. «Человек не хочет быть человеком, — возглашает наш автор, — все равно в какую бы то ни было пропасть — только бы прочь от своей человечности. Всякая страсть тем и прекрасна, что она окрыляет душу для возмущения, для бегства за ненавистные пределы человеческой природы», поэтому Скупой Рыцарь будто бы столь же пленителен, как и Клеопатра. Таких людей — пусть они будут искренние злодеи, развратники, скупцы и т. п. — г. Мережковский называет истинными героями. Герои же — «неудачники» — это те, у которых осталась еще крупица совести. Это — «старшие братья Раскольниковы, преступившие закон и ужаснувшиеся, не имеющие силы для бесстрастия и беспощадности истинных героев: цареубийца Годунов, убийца гения — Сальери». Г. Мережковский оправдывает самое низкое преступление под условием, чтобы оно было вполне бессовестно, без тени страха или стыда. Он приходит в величайший восторг перед самыми кровожадными из деспотов истории. Самым вещим из великих произведений Пушкина он считает «Медного всадника», и именно за то, что в этой поэме выведена гибель слабых людей от произвола сильного. Вместе с Пушкиным и, конечно, на сто верст впереди его г. Мережковский прославляет императора Петра I как «одного из величайших всемирных гениев», как «благодатного бога брани», как гиганта и полубога; пушкинская формула Петра: «Pierre I est tout à la fois Robespierre et Napoleon (la révolution incarnée)»¹⁸ кажется г. Мережковскому величайшею похвалою. Для него восхитительно то, что Робеспьер-Наполеон не остановится ни перед какою гибелью обыкновенных смертных. «Какое дело гиганту до гибели неведомых, бесчисленных? Какое дело чудотворному строителю (Петербурга) до крошечного ветхого домика на взморье, где живет Параша — любовь смиренного коломенского чиновника? Он погибнет. И пусть! Не он первый, не он последний. Воля героя умчит и пожрет его вместе с его малою любовью, с его малым счастьем, как волны наводнения — слабую щепку. Это — рок. *Не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим неведомым целям?..*» (мой курсив).

X

Вот оно, новое слово! Я не помню, чтобы в русской литературе кто-нибудь раньше г. Мережковского договорился до такого, с позволения сказать, бесстыдства. Необходимо остановиться на этих словах: смысл их приписывается Пушкину как похвала это-

му великому поэту. Неужели, в самом деле, для того рождаются на свет обыкновенные мирные люди, чтобы «*по костям их* великие избранники шли к своим неведомым целям»? Вдумайтесь, читатель, внимательно вчитайтесь в патетические вопли г. Мережковского. Ведь дело идет ни более ни менее как о *костях* ваших, по которым молодой поэт приглашает идти каких-то «великих избранников» к каким-то «неведомым» целям. Причем оговаривается, что вы должны считать за честь, если кости ваши будут втоптаны в грязь каким-нибудь «божественным хищником». «Что если червь земли, — взывает г. Мережковский, — возмутится против своего бога? Неужели злобный шепот этого презренного, жалкие угрозы этого безумца достигнут до медного сердца гиганта?»

Г. Мережковский отлично сознает, что в цинизме своем он совершенно одинок в литературе, если не считать горсточку несчастных декадентов и нитчеанцев. Он знает, что идет против преданий если не всемирной, то всей русской литературы. Он прямо так и говорит, что вся русская литература в лице величайших своих писателей впала в безумие, именно безумие христианской жалости. «Вся русская литература после Пушкина будет демократическим и галилейским восстанием на того гигантского всадника, который над бездной “Россию вздернул на дыбы”. Все великие русские писатели — не только явные мистики — Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, но даже Тургенев и Гончаров — по наружности западники, по существу такие же мистики и враги культурного язычества — будут звать Россию прочь от единственного, непонятого русского героя, от забытого и неразгаданного любимца Пушкина, вечно одинокого исполина на обледенелой глыбе финского гранита, — будут звать назад к материнскому лону русской земли, согретой русским солнцем, к смирению в Боге, к простоте сердца великого народа-пахаря, в уютную горницу старосветских помещиков, к дикому обрыву над родимую Волгой, к затишью дворянских гнезд, к серафической улыбке Идиота, к блаженному “неделанью” Ясной Поляны; — и все они, все до единого, быть может, сами того не зная, подхватят этот вызов малых великому, этот богохульный крик возмущившейся черни: “Добро, строитель чудотворный! Ужо тебя!”».

XI

Что г. Мережковский смешал с чернью «всех до единого» великих писателей наших — Гоголя, Достоевского, Гончарова,

Тургенева, Льва Толстого, — это небольшой грех, это клевета пре-дубеждения, не больше. Но что он путем величайших натяжек выводит Пушкина из среды этих великих и ставит его во враждебное к ним положение — это клевета более серьезная, клевета обожания. В своем необузданном идолопоклонстве пред языческим принципом *силы* (понимаемой им как жестокость), молодой поэт столь же серьезно оклеветал и обожаемого им Петра I. Я вовсе не поклонник этого «медного гиганта» нашей истории, но вынужден защитить его от клеветы г. Мережковского. Что Петр I был человек грозный и в борьбе с врагами не щадивший людей, — это верно; но выставлять его каким-то Атиллою или Тамерланом, шествующим «по костям» бесчисленных «малых», — несправедливо. Это преувеличение, искажающее истинный образ Петра. Г. Мережковский выставляет этого царя как некоего гневного бога, который во время стихийного бедствия, разразившегося отчасти по его вине, уничтожает безумцев, дерзнувших поднять на него ропот. На самом деле Петр I был не таков; во время наводнения в Петербурге в 1824 году ему, конечно, ничего не оставалось, как стоять в горделивой позе «медного всадника» над бушующими волнами. Поза красивая, и Пушкин создал из нее чудный рассказ. Но случись подобное же бедствие при Петре, то нет никакого сомнения, что он первый бросился бы спасать тонувших людей, как он бросился спасать солдат на Лахте (отчего, как говорят, и умер)¹⁹. Бедному Евгению, «презренному и ничтожному», пришлось бы увидеть Петра во время наводнения не в позе медного идола, а в виде хоть и могучего, но крайне участливого и совсем простого человека. Нет сомнения, что и Пушкин в «Медном всаднике» отошел от правды в изображении Петра, идеализировал или, точнее, идолизировал этого царя. Петр в «Медном всаднике» не тот, что в «Полтаве», и не тот, что в «Арапе Петра Великого». Но в «Медном всаднике» Пушкин рисовал не живую личность Петра, а его образ, постепенно разросшийся в истории, и в памятнике, как водится, преувеличенный. Для пушкинской полуволшебной повести это героическое преувеличение было нужно, как приняты подобные же гиперболы в былинах о богатырях. И все же Пушкин не дошел до того, чтобы воспеть именно жестокость Петра, как это доделал за него г. Мережковский. Напротив, при всем поклонении Петру, гений Пушкина подсказал ему невыразимо грустный конец истории «Медного всадника», до того грустный, что он звучит прямым укором Петру. «Печален будет мой рассказ», — предупреждает Пушкин, — и в самом деле он печален. Рассказывается трагедия живого человеческого сердца, неизвестного, бедного, но полного

нежной любви — и растоптанного чьим-то грозным произволом. Рассказывается, как ошибка в великом замысле поражает безвестные человеческие существования, с их самыми чистыми радостями.

ХИ

Пушкин не говорит прямо об ошибке Петра, но ему было известно о существовании целой исторической школы, доказывавшей эту ошибку. «На берегу пустынных волн», среди болот и лесов, вне границ своего народа — пример в истории небывалый — Петр задумал основать центр народной жизни, и с величайшими жертвами и насилиями достиг того, что устроился если не центр, то красивый город. Карамзин признал эту затею «блестящею ошибкою» Петра²⁰, и нет сомнения, сам Петр теперь согласился бы с ним. Петр не знал о наводнениях Невской дельты, о неизбежном засорении фарватера, не предусмотрел невозможности устроить здесь удобного порта и вообще наделал множество чисто практических ошибок, объясняемых поспешностью и незнанием. Он выбирал между Ревелем и устьями Невы, и сделал плохой выбор, чтобы поддержать свою другую колоссальную ошибку — перенос столицы за границу, — ошибку, объяснимую только рабским преклонением царя перед тогдашней заграницей. Как теперь совершенно ясно, «на берегу пустынных волн» Петр стоял с думами, полными великих недосмотров. Но он умер, и недосмотры эти пришлось расхлебывать тем бесчисленным, «ничтожным и малым», судьбою которых распорядился царь. Сравните блестящую картину Петербурга в начале «Медного всадника» — и щемящий сердце финал:

Остров малый

На взморье виден.

.....

Не взросло

Там ни былинки. Наводненье

Туда, играя, занесло

Домишко ветхий. Над водою

Остался он, как черный куст, —

Его прошедшею весною

Свезли на барке. Он был пуст

И весь разрушен. У порога

Нашли безумца моего...

И тут же хладный труп его

Похоронили ради Бога.

Если бы г. Мережковский бросил хоть на минуту свои ходули, свой ложный пафос и взглянул бы по-человечески на эту печальную картину, — он подметил бы, что это не «отвратительная скука петербургских будней», как он выражается, а глубокая драма, к которой Пушкин был вовсе не равнодушен. Пушкин мог бы возбудить в читателе презрение к своему герою, но возбуждает глубокую жалость — ясно, что он сам ее разделял. Навязывать Пушкину по поводу этой драмы жестокую мысль, что «смирный коломенский чиновник погибнет — и пусть! Не он первый, не он последний... Не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие избранники шли к своим неведомым целям», — навязывать Пушкину эту тупую жестокость — поистине клевета. На самом деле Пушкин, при всей безалаберности своего характера, обладал мягкой и жалостливой душой. Наводнение петербургское его страшно встревожило, и он в письме к друзьям просил оказать помощь пострадавшим из его «онегинских денег»²¹. Пушкин терпеть не мог ходулей и к страданию человеческого относился просто, как и все простые люди — с состраданием. Пушкину и во сне не снилось в лице маленького чиновника, сошедшего с ума от горя по своей Параше, выводить «мировое начало», которое находится будто бы «в ужасающем столкновении» с другим «мировым началом» — волею «сверхчеловеческого демона», как напыщенно выражается г. Мережковский. По мнению г. Мережковского, слова бедного Евгения: «Добро, строитель чудотворный!.. Ужо тебя!» были не простою бранью несчастного, — а вот что: «Мы слабые, малые, равные идем на тебя, Великий, мы еще поборемся с тобой, сильные нашею жалостью, и как знать — кто тогда победит?» Скажите, как хитро! Но навязывать эту хитрость чистосердечному гению Пушкина — суцая клевета. В глазах г. Мережковского несчастный чиновник не более как «дрожащая тварь». Ну и пусть так, но приписывать Пушкину это глупое презрение к человеку бедному, обезумевшему от горя, — клевета и ничего больше.

ХIII

Все навыворот — вот тайный лозунг г. Мережковского. Увлечись «переоценкой» вечных ценностей человеческого духа, в качестве подражателя Ничше, г. Мережковский восстает против «галилейской жалости» как против какой-то подлости, думая, что он говорит этим что-то умное. Но то, что у Ничше достаточно объясняется начинавшимся сумасшествием, у г. Мережковско-

го я уж не знаю, чем объяснить, не обижая его. Поэтический талант нашего поэта неуравновешен и потому договаривается до безумия, первый признак которого, как известно, состоит в потере нравственного чувства. Поэтому, за что бы наш поэт ни ухватился, во всем у него ускользает самое драгоценное — нравственный смысл, и получается часто блестящая, но очевидная бессмыслица. Увлекаясь всей душою язычеством, красотой, силою, любовью, героизмом, — г. Мережковский оклеветывает все эти явления, навязывает им преувеличенные, карикатурные черты. Например, героизм. Жизнь тысячелетий человечество выработало нравственный взгляд на героев как на людей *долга*, людей нравственного подвига.

Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран!²² —

справедливо говорит Пушкин, и во всех героях своих, которых любит, он неизменно отмечает эту черту — сердце. Даже в Наполеоне, тоскующем «один, один о милом сыне в изгнании горьком»²³, он нашел это человеческое чувство. Герой — носитель долга, защитник справедливости, поборник правды; такими рисуются наши богатыри, таково западное рыцарство, таковы все истинные герои столь любезного г. Мережковскому язычества. Даже у Гомера наряду со стихийным Ахиллом выдвинута светлая фигура Гектора, и сам Ахилл был бы простым животным, если бы участие его в битвах не объяснялось нравственным мотивом: защитой Менелаева дома и жалостью по Патроклу. Так что даже первобытному варварству не чужд этот взгляд на героизм. Но г. Мережковский все это перерешил наоборот; для него герой — воплощение права без тени каких-нибудь обязанностей. Герой, видите ли, имеет «великое дерзновение» — и довольно. До сих пор думали, что героизм — это самоотверженность, жертва ради блага других, — теперь навыворот: благо других, самое идеальное, ставится ниже воли героя. Он, видите ли, «венчанный Рокком», идет к «неведомым целям», и потому, что эти цели неведомы, человечество приглашается своими костями устилать путь ему. Человечество — ведь это презренное большинство, это чернь, для «звериных ушей» которой слишком много чести, чтобы объясняться с ней: «божественный хищник» должен «налететь» на толпу, как орел на стадо гусей, и выбирать любую жертву молча — ведь это не более как «тварь дрожащая». Право, почитав г. Мережковского, можно подумать, что он сам близок к тому, чтобы почувствовать себя хищной птицей и, может быть, в каче-

стве таковой и налетел на стадо гусей — Гоголя, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Льва Толстого...

XIV

Урезонить г. Мережковского, конечно, невозможно; единственный резон, ему приятный, — какое-нибудь жестокое насилие, за которое он — по его логике — должен бы тотчас же возвести вас в герои. По понятным причинам приходится отказаться от такого аргумента. Не для г. Мережковского, а для более здоровых последователей его — вроде г. Перцова, его издателя *, — можно заметить, что жизнь большинства человеческого рода не так глупа, как кажется, что презренная чернь, так или иначе, зарабатывает честно свой хлеб и жизнь проводит так, что она продолжается и даже расцветает. Но стоит появиться «божественному хищнику» — Атилле, Тамерлану, Батыю — и цветущие страны превращаются в пустыни, в песке которых до сих пор валяются черепа и кости народов, стертых с лица земли. Даже небольшие хищники, вроде Наполеона, успевали за короткое время наделать столько бед, что загладить их не удастся в целое столетие. Если бы эти «божественные хищники» оставили в покое чернь презренную, не налетали бы на нее от времени до времени и не расстраивали нежной ткани народной, не губили бы плоды целых поколений, может быть, «тварь дрожащая» устроилась бы очень не дурно. Вспомните, что именно против подобных «божественных хищников» и одурачиваемых ими полчищ содержатся армии, под гнетом которых народы изнемогают. Даже одна возможность этих хищников изнуряет человечество. Если обожать подобных героев, то г. Мережковскому следовало бы, подобно дикарям, обожать и тигров, и львов, и крокодилов, и волков, — ведь это те же четвероногие Тамерланы и Наполеоны. Роль их в мировом хозяйстве та же самая. Я вовсе не отрицаю героизма, но истинные герои шествовали не на костях народов, а умирали на крестах, на кострах или с чашею яда в руке... Не они были истребителями, а их истребляли. После них осталась мысль, которая и продолжала героическое служение человечеству, и мысль

* Боюсь, впрочем, утверждать, что г. Перцов и до сих пор остается приверженцем символизма и г. Мережковского. Г. Перцов, поэт, критик и публицист, выступив в «Русском богатстве» последней редакции, непостижимо быстро перешел к почитанию г. Мережковского, затем г. Розанова и наконец объявил себя славянофилом школы С. Ф. Шапова²⁴.

эта была не за насилие, а против него. Есть, значит, герои и герои...

XV

Психология героев и толпы не так уж хитра, но г. Мережковский понимает ее навыворот. Он полагает, что такие «герои», как Наполеон I, Робеспьер и пр., относились с величайшим презрением к черни. Он грубо ошибается. Именно хищные герои ухаживали за чернью и ставили себя в уровень с нею, — иначе им и не увлечь бы своих полчищ. Явись «герой» г. Мережковского перед чернью и скажи ей откровенно, что считает ее сволочью, «дрожащей тварью», которой если и погибнуть по его мановению, так что за беда, — он не далеко бы ушел со своим героизмом. Чернь пришла бы в понятное недоумение, то самое, которое встретил пушкинский поэт. «Нет, если ты небес избранник», сказала бы чернь, то «свой дар, божественный посланник, на благо нам употребляй». И если герой не признал бы этих претензий уважительными, то и чернь не признала бы героя. Признал бы его — без всяких условий — разве уж последний отброс черни, да и то в тайной надежде, вступив в союз с «героем» против толпы, поживиться на ее счет. Все сомнительные герои, вроде Наполеона, Цезаря и пр., добивались добровольного признания толпы (напр<имер>, солдат) и добивались не жестокостью, не криками «Подите прочь! Какое дело!» и пр., не презрением к толпе, а напротив, — лестью и преклонением пред ней. Наполеон, если бы вместо «mes braves» * называл своих гвардейцев в глаза пушечным мясом — едва ли продержался бы хоть полчаса на своей высоте. Ему — как и другим великим полководцам — приходилось вести жизнь солдата, разделять все опасности и невзгоды и показывать вид, что он избранник и любимец своих приверженцев, их порождение, и что не он ими движет, а их воля заставляет его вести их. Истинные герои, пророки и мудрецы не прибегали к такому подлаживанию к своей среде — и конец их был иной...

Г. Мережковский с негодованием набрасывается на *демократическое равенство* современного культурного общества, считая его синонимом черни. «Народ, толпа, чернь» у него неотделимые понятия. Но ничего подобного нельзя приписать самому Пушкину. Крестьянство наше Пушкин любил, тяготел к нему душою, учился у него языку и поэзии и сам, судя по письмам, говорил

* мои храбрецы (фр.). — Сост.

почти простонародным языком, несравненно более народным, чем язык тогдашней словесности. Пушкин гордился своим дворянством, но не больше, чем гордились своими дворянами и мужики: этот предрассудок у него был народен. Пушкина постоянно тянуло к народу, как Алеко. Он чувствовал, что народ скорее понял бы истинного поэта, нежели изуродованное, хуже чем невежественное — полуобразованное тогдашнее общество, проникнутое сверх своих еще и заграничными суевериями. Уж на что цыгане похожи на чернь, а Пушкин — сам бегавший к ним²⁵ — заставляет их принять поэта (Овидия) как святого старика. Пушкин охотно читал старой няне свои стихи и встречал в ней больше сочувствия, нежели, напр<имер>, в Сенковском, человеке, по-тогдашнему, с огромным образованием²⁶. Портрет этой чудной няни или старика Савельича в «Капитанской дочке» — разве мог бы зарисовать их с такой любовью поэт, презиравший народ?

Кого Пушкин искренно презирал, так это свое общество, среди которого вращался, за исключением немногих избранных и друзей. Именно к этому классу обращал он свои громы, как бы предчувствуя, что не народ, а именно эта «светская чернь» пожрет его.

XVI

Противупоставляя поэта и чернь, г. Мережковский с бесконечным презрением говорит о принципе большинства в западноевропейском обществе. Этот принцип, опирающийся на подсчет голосов, будто бы враждебен всему высокому и есть отрицание аристократизма духа. Но, не говоря о том, что этот принцип в управлении некоторых стран (как, напр<имер>, Англия) в течение столетий не повел к особенно дурным результатам, не низвел эти страны на низшую ступень просвещения, богатства, творчества в науках и т. п., нужно вспомнить, что принцип большинства применяется лишь в специальной области, в сфере материальных прав. Г. Мережковский мог бы знать, что ни один парламент не решает вопросов искусства, науки, техники, религии, поэзии — во всех этих областях решающий голос принадлежит меньшинству, группе гениев в каждой области, и «чернь» не нужно обращать в «тварь дрожащую», чтобы она слушала «проповедь» этих гениев — она охотно их слушает — если эти гении истинны. Вот разве для неистинных, дутых гениев нужно было бы покорять толпу бичами... Толпа (на Западе) если предъявляет свою «волю большинства», то главным образом в расходовании материальных средств, с нее же собираемых, в решении вопросов общей безопас-

ности, здоровья, комфорта и т. п. Тут спор идет не о каких-нибудь абстрактных началах, не об истине и красоте, а об удовлетворении более скромных нужд; заявляются и подсчитываются не идеи, а желания. Парламент выражает не мысль страны, а ее волю, ее преобладающее желание. Когда речь пойдет об интересе отвлеченном, даже в сфере законодательства, решающий голос принадлежит не представителям большинства, а единицам — современным представителям науки права. Скромная чернь охотно предоставляет вырабатывать принципы законов избранному меньшинству — государственным людям, академикам и т. п. Законопроекты вносятся всегда не «большинством», а отдельными лицами и делаются знаменем партий не прежде, чем эти отдельные лица сумеют убедить большинство, т. е. покорить себе «толпу». Парламент охотно предоставляет себя влиянию «героев» — и если они есть среди депутатов, каждому дано право взойти на трибуну и увлечь силою своего знания и таланта всю «чернь». Не дано только право единицам, как некогда баронам, убеждать «большинство» кулачною расправой. Если оратор даровит, умен, знающ и т. д., он и увлекает толпу — подсчет голосов является до некоторой степени лишь показателем гениальности этих отдельных лиц; ясно, что принцип большинства не только не враждебен аристократизму духа, но скорее благоприятен для него. При обратном начале не было бы соревнования между «героями», не было бы нравственной победы над чернью. Без арифметики совершенно нельзя обойтись, если вы хотите узнать, покорили ли вы толпу или нет. Ведь даже Тамерланы и Наполеоны, прежде чем «налететь» на «тварь дрожащую», считают число своих сообщников и противников, — как же не считать голосов в общественных учреждениях? Скажут: «Мнение одного мудреца для черни более ценно, чем мнение о нем толпы». Бесспорно — но вопрос идет не о мнениях, а о желаниях толпы, которые нужно покорить. Если бы в каждую минуту в человечестве был всего лишь один «герой», ну, тогда рецепт г. Мережковского о «дрожащей черни» имел бы некоторый, хоть и не красивый, смысл. Покориться всем одному, заведомо великому — куда ни шло. Но что если «великих» явится несколько и все они одновременно предъявят требования покорности? — как это и бывает в современном обществе. Ничего не останется, как подсчитать число увлеченных теми и другими, чтобы выяснить влияние сильнейших, т. е. выделить некоторым образом аристократию парламента. Не станете же вы отрицать, что вожди партии — самые талантливые в своей партии, самые блестящие. Правда, парламент не включает в себе *все* таланты страны, но это потому, что он не включает в себе и всех функций стра-

ны, а лишь *одну*. Ренан и Дарвин не были депутатами потому, что не были политиками, и их огромные познания в библейской истории и биологии не имели бы никакого приложения при вопросе о налоге на спички или ассигновке на вооружения. Эти — *политические* — вопросы решают, так сказать, аристократы политики, хотя и аристократы химии, анатомии, живописи, музыки в качестве граждан не лишены права подать свой голос, имея каждый своего поверенного в парламенте. Аристократы музыки или нумизматики не потому не заседают в палате, что их туда не пускают, а потому, что они и сами туда не идут — нельзя же их тянуть туда насильно.

XVII

Отрицать «большинство» в политике значит отрицать самые основы современного общества, но в таком случае следовало бы предложить другой, более высокий принцип. Христианские идеалисты указывают этот принцип — в повиновении воле Бога (раскрытой Христом). Г. Мережковский указывает этот принцип — в повиновении воле героя, осязаемого, живого «полубога». Но если можно представить себе общество, основанное — как первые христиане — на любви (к богу и человеку), то «общество», основанное на страхе, есть в сущности орда, человеческое стадо, не более. Как ни презирает г. Мережковский «тварь дрожащую», но она успела во многих местах выйти из состояния стада. Современной общественности еще далеко до «общества любящих», но она уже сложилась в «общество уважающих» друг друга, в чем и состоит принцип большинства. Он всюду принят, где общество уже вышло из состояния стада, но еще не вошло в Царство Божие, где большинство голосов всегда «абсолютное». От скромного семейного до государственного совета, от волостного правления до сената, от собрания учителей любого училища до академий и факультетов, от артели рассыльных до всемирных съездов разных деятелей — всюду господствует принцип большинства и счета голосов. Наивно думать, как, по-видимому, думает г. Мережковский, что этот ненавистный ему принцип есть новость в истории — «демократическая» новость. С доисторических времен, с тех пор, как установился общинный строй, существовал *совет*, а совет невозможен без отобрания голосов. Самые аристократические корпорации — дружины князей, боярские думы, судебные коллегии — не обходились без счета голосов. Военный совет, суд пэров, конклав, конгресс государей, вселенский собор —

пусть г. Мережковский укажет хоть одно собрание, не исключая столь любезных ему богов Олимпа, где бы *общий* вопрос решался без счета голосов, без узнания мнения «большинства». И никто не называл этих собраний «толпой» и «чернью» за то только, что они решают сообща. Отрицать большинство значит отрицать не только демократию, но и такие аристократические установления, как церковь, «общество верующих», как нация, «общество единокровных» (так как и церковь, и нация есть *большинство* в отношении веры, языка, племени и т. п.). Для сведения г. Мережковского замечу, что у нас коллегиальное начало с ненавистным ему счетом голосов введено обоготворяемым им Петром I²⁷.

Большинство, точно выраженное (для чего необходим счет), есть столько же признак черни, сколько аристократии. Толпа перестает быть бесформенною массой, чернью только тогда, когда начинает выясняться большинство, — только счет одинаковых признаков организует хаос людской в стройное общество. Не было бы счета, не было бы и аристократии: все элементы, лучшие и худшие, сливались бы в одну массу. Вне собраний и учреждений, в обществе, среди свободных профессий всегда идет непрерывный подсчет мнений, выдвигающий таланты на череду общественного внимания. Слава Пушкина, как и всякая иная, создалась именно разграничением его поклонников от непоклонников.

XVIII

Г. Мережковский, говоря о Наполеоне, вместе с поэтами 30-х годов плачет над судьбой великого, павшего жертвой малых, — над судьбой героя среди черни²⁸. Но именно Наполеон-то и опровергает г. Мережковского. Наполеон унижен был не чернью, а союзными монархами Европы, т. е. аристократией по преимуществу. Чернь его вознесла на высоту, аристократия низвергла. Точно так же и Пушкин, прославившись преимущественно в средних кругах публики, пал жертвою аристократических интриг: «демократия» в его гибели неповинна. Если вспомнить судьбу героев — ложных, как Наполеон, Атилла, Цезарь и т. п., или истинных, как герои христианства, Сократ, Сенека, Гус и т. п., — увидим, что их губит не чернь, а современная аристократия. «Бессмысленный народ» обыкновенно стоит в стороне, а когда мысль героя проникает в его толщу, то народ высылает пророку лучшую свою кровь, благороднейших поклонников, которые, подняв знамя его, растоптанное «меньшинством», фарисеями и первосвя-

щенниками, возносят его на мировую, всенародную высоту. Великое учение орошает и животворит сердца толпы, пока не сделается аристократическим, пока не попадает в заведование замкнутой касты, и чем более эти касты, «аристократическое меньшинство», отгораживают истину от толпы, тем более истина мертвоет и превращается в ложь. История великих учений полна примерами их гибели не на площади, среди толпы, а в скиниях завета, палладиумах и храмах, воздвигнутых для их бережения. Напротив, дух истины часто сохранялся в сердцах «черни», или в отдельных, гонимых аристократией «сектах», или в народной массе, которая при первом же дуновении свободы обнаруживала понимание древней истины в ее первобытной чистоте.

Г. Мережковский говорит, что со стороны пушкинского поэта было «слабостью» даже разговаривать с чернью. Но представьте себе, в самом деле, если бы все поэты и герои приняли бы этот совет. Пророки должны были бы бежать не к народу, а из народа. Будда, Сократ, Христос и те же самые «олимпийцы» Гете и Пушкин должны были бы обречь себя на одиночное заключение и не только не говорить, но даже не писать своих вещей (так как писание — тот же разговор, но с еще большими массами народа). Хорош был бы Прометей с своим огнем без человечества или Моисей со скрижалями — без Израиля! Хорош был бы «поэт действия» Наполеон — без своей великой армии!

Преклоняясь пред героями вроде Наполеона без всякой критики, возводя их в герои только за внешний успех, закрывая глаза на их чудовищные недостатки, на их низость, г. Мережковский поступает сам как представитель черни. Именно ведь чернь идолизировала генерала Бонапарта и возвела его в герои. Именно толпа подхватила его «на щит» и вывела в полубоги. Но толпе простительно: она невежественна, ей виден лишь внешний блеск «героя», лишь его успехи, ему приписываемые, но достигнутые менее всего им. Для толпы невозможен критический взгляд на «героя», ей неизвестны настоящие замыслы героя, бесчисленные условия, из которых слагается настоящая, нелегendarная его жизнь. Толпа, возведя Наполеона в героя, пользуется им лишь как громким именем для цикла громких событий, как знаменем или символом их, и потому часто наделяет своего идола свойствами, каких тот и не имел. Но прилично ли писателю становиться на эту точку зрения «черни»? Надо заметить, что и из черни-то могут разделить взгляды нашего просвещенного поэта разве лишь подонки ее, те отбросы, которые уважают в идоле лишь физическую силу, только способность к злу. Масса же народная всегда

обоготворяет «героя» не за силу, а за что-то божеское, благое, что желает видеть в этой силе.

XIX

Молодой поэт, столь высоко возносящий героя над толпою и отделяющий его от нее пропастью презрения, забыл из своей же поэзии урок, который один индусский пария, представитель черни, дал — и не только аристократу, а — самому Будде, когда тот на мгновение позволил себе рассуждать так, как г. Мережковский. У меня нет под руками стихотворений г. Мережковского, но расскажу одно из них сухою прозой. В пустынный храм с изваянием Будды зашли нищие, умиравшие от голода. Один из них захотел взять драгоценный камень, украшавший чело идола. Но разгневанный бог отогнал несчастного своими громами. Тогда тот возопил: «Вседержитель! Ты не прав! — Мы умираем с голоду, а ты, обладатель мира, ты, учивший милосердию, жалеешь какого-то камня, чтобы нас насытить!» Божество устыдилось этой смелой речи и наклонилось до земли, чтобы дать возможность снять со своего чела алмаз²⁹.

Это прекрасное стихотворение — достойный ответ поэту в «Черни» и теперешнему г. Мережковскому. На гневное, надутое «Подите прочь! какое дело...» и пр. следует кроткое: «Ты не прав». Рассердиться-то, оттолкнуть-то от себя живое, страдающее существо, темное и бедное, — нетрудно — это не большой подвиг для полубога. Посулить «бичи, темницы, топоры» или, подобно г. Мережковскому, заметить: «Он погибнет. И пусть! Не он первый, не он последний», — все это, право, звучит не по-божески; это совсем не аристократизм, а нечто чернее черни. О, если бы грубые слова г. Мережковского сказал бы не просвещенный поэт, а какой-нибудь дворник, — ни на одно мгновение сам г. Мережковский не усомнился бы, что они злы и бездушны, что в них говорит черное варварство дикаря. Ибо «бичи и топоры» или шествие героя «*по костям* бесчисленных, малых» считается варварством всюду, кроме Дагомеи и Афганистана. «Вседержитель, ты не прав!» И тем более не прав г. Мережковский, который все-таки не Будда, при всем величии. Молния божественного разума озаряет часто и «ничтожного» парию, тогда как полубог остается во тьме. То, что есть истинный аристократизм, искра чистейшего света, не есть сплошное состояние ничьей, даже самой великой души, не есть принадлежность какой-либо группы в обществе, хотя бы самой избранной. «Пока не требует поэта к свя-

щенной жертве Аполлон», даже поэт, «небес избранник», может быть ничтожнее «детей ничтожных мира», т. е. и он тогда чернь. Но к «священной жертве» призваны бывают не только дети меньшинства, но и такие пролетарии, как древние пророки, апостолы и мудрецы. Дивным светом сверкают вершины гор, но искры того же света горят и в пылинках дольного инея.

